

Валерий КОПНИНОВ

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ВЕЧНОСТЬ

Глава из романа

«С “максимом” да при правильной позиции и пехоту можно в землю носом положить, и конницу заставить кувыркаться, — напрягая уставшие за несколько бессонных ночей глаза, размышлял командир пулеметного расчета младший унтер-офицер Максим Морозов, вглядываясь в вечерние сумерки, что довольно быстро сгущались, делая еще совсем недавно хорошо просматриваемый сосновый лес почти непроницаемым, — а здесь, в густом бору, вплотную подойдут, а я только кору с сосен посшибаю».

Третьи сутки барнаульский гарнизон под командованием полковника Камбалина — два кавалерийских эскадрона из полка голубых улан, солдаты Третьего Барнаульского Сибирского стрелкового полка и дивизион артиллерии морских стрелков с дюжиной легких орудий английского образца — вел бои за город с отрядами партизанской армии Ефима Мамонтова.

И все эти дни немногочисленная, но боееспособная часть барнаульского гарнизона, в составе полуэскадрона разведки тех же голубых улан и роты стрелков, обосновавшись за стенами Богородице-Казанского женского монастыря — на тот момент волею военной судьбы ставшего главным оборонительным рубежом колчаковских войск, — находилась в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая штурма на своей линии обороны.

Третьи сутки Максим и его второй номер пулеметного расчета рядовой Адам Черных, сменяя друг друга на время короткого отдыха, дежурили на ближней к монастырским воротам башне, держа под прицелом дорогу, что вела к монастырю, а также лесной массив, почти вплотную подходящий к южной стене.

И это затянувшееся бездействие вкупе с напряженным ожиданием боя понемногу расшатывало нервы.

А еще тревожила оторванность монастырского гарнизона от основных сил, незнание происходящего там — за высокими кирпичными стенами. Третьи сутки не поступало никаких приказов и распоряжений. Абсолютно никаких. Равно как и разъяснений текущей обстановки. Действующим оставался давний приказ главнокомандующего Сибирским корпусом генерала Капшеля удерживать Барнаул во что бы то ни стало. Им

и руководствовались, но... главнокомандующий далеко — генерал Капель вместе со своим штабом в Омске, до него чуть ли не тысяча верст. А Барнаул — вот он, под боком, и что там происходит — поди пойми. Молчит Барнаул. Три дня был разговорчив, а стало быть, более-менее понятен. Третьего дня шел бой у деревни Ерестной, а через сутки бой откатился ближе к городу. Батарея, сменив позицию, била с Соборной площади по все той же деревне Ерестной, к тому времени уже занятой частями красных партизан. Снаряды после очередного артиллерийского залпа по восходящей траектории с воем проносились над храмом Иоанна Предтечи, Нагорным кладбищем и жилыми домами. Гул от близких разрывов катился по мерзлой земле, а с башни эти разрывы, что раскрывались уродливыми бутонами, выбрасывая вверх комья земли вперемешку со снегом, просматривались как на ладони. Ход сражения, по направлению стрельбы, по интенсивности перестрелки, хотя бы в общих чертах, но отслеживался. А к вечеру все стихло. Одиночные выстрелы своей малозначимостью только усиливали тишину. И вот попробуй, разгадай ее...

С реки Барнаулки тянуло ледяным ветром, пробиравшим до костей — ни шинель, ни башлык от холода не спасали, а овчинный тулуп, что для сугрева получили они с Адамом от сердобольных монахинь, Максим использовал как теплый кожух для новенького, еще не до конца утратившего заводскую смазку пулемета «максим».

— Пулемет железный, — рассудил тогда Максим, отвечая на немой вопрос Адама, видимо рассчитывающего на тулуп, хотя бы в часы своего дежурства. — Такое, что человек вытерпит, он терпеть никак не может. Сейчас мы его защитим, а потом — он нас! А встанет — и нам хана...

— Да я что, ваше благородие, разве же я без понятия совсем, — неподобающим для его могучего телосложения тенором отвечал Адам, — только вот, залить бы глицерину побольше в кожух, а тулуп... того...

Седоусый и седовласый Адам Черных, бравый и опытный солдат (а всего лишь несколько годков назад крестьянствующий мужик, что никогда не держал в руках оружия более опасного, чем четырехрожковые вилы), по возрасту годился Максиму в отцы и сильно смущал его этим «благородием». Но в устах Адама это «благородие» звучало не то чтобы по-свойски, а с какой-то необидной иронией, что Максима вполне устраивало.

— Где бы только раздобыть этот глицерин? — призадумался Максим. — Обоза нет как нет. Хоть самогон в кожух заливай! Да и его где взять, не у монахинь же?

— А что, ваше благородие, — немедля отозвался Адам и с готовностью затоптался на месте, — монашки, они тоже люди. Что ж не попробовать? Вы главное приказ мне дайте, чтоб я сполнил честь по чести...

— Отставить самогон! — рассмеялся Максим излишней расторопности Адама. — Не тебе да не с твоим имечком ловить рыбку в мутном пруду. Ты для них кто? Адам. Первый человек, кто Божью заповедь нарушил!

— Ну, эта присказка для дуры, — ненадолго задумавшись, возразил Адам. — А для умной бабы — я тот, из чьего ребра весь женский род пошел!

В конечном итоге спор ничего не изменил и тулуп все равно остался за пулеметом с окончательным решением старшего по званию — «Отныне, и присно, и вовеки веков. Аминь».

Оттого-то один Максим мерз на холодном ветру, а другой «максим» нежился под густой овчиной.

Темнело быстро. Вдобавок ветер поднял еще не успевший как следует приморозиться свежий снежок и колюче бил по глазам, мешая осмотреться.

Но Максим мог и в полной темноте определить огневые точки их гарнизона — на двух северных башнях, выходящих к Барнаулке, засели точно такие же пулеметные расчеты, а западнее — на башне по другую сторону ворот, на лафете, собранном второпях из обрезков сосновых стволов, стояла небольшая пушка. Пушка, как и пулеметный расчет Максима, контролировала дорогу к монастырю.

Вселяло беспокойство вынужденное ослабление и без того небогатого штыками гарнизона — третьего дня полуэскадрон голубых улан, что квартировался в Богородице-Казанском монастыре, срочно убыл на соединение со своим полком к деревне Ерестной на Змеиногорский тракт, где к Барнаулу вплотную подошли части красных.

А без кавалеристов представлялось невозможным ведение встречного боя, да и дисциплина (равно и следование присяге) у солдат стрелкового полка при голубых уланах держалась на уровне более высоком, впрочем, как и боеспособность.

Как назло, уланы, убывшие третьего дня, в монастыре не появлялись, были только наездом несколько всадников, привезли в санях двух раненых для сестринского ухода, да про бой с красными рассказали. Встретили, мол, большевичков хорошим огнем пехоты да артиллерии морских стрелков, рассеяли по степи, а уж потом в дело пошли они, голубые уланы, — гнали красных верст десять и многих порубали. А у тех, кого в плен взяли, выведали, что-де вместе с партизанами на город предатели шли — бывшие свои, стрелки из 45-го и 46-го Сибирских полков, перешедшие из-под командования генерала Каппеля под начало Ефима Мамонтова. Так что недолго перебежчики радовались, многие из них полегли под «вострой сабелькой».

Максим давно заметил у голубых улан это желание помахать «вострой сабелькой», и оно совсем не нравилось ему, но сейчас их поддержка пригодилось бы в этой неизвестно что сулящей ночи.

— Идите, погрейтесь, ваше благородие, — вынырнул из темноты Адам, как человек, сведущий в охоте, ходивший бесшумно. — Я покараулю. Вряд ли сегодня пойдут...

— Нет, Адам, именно сегодня и пойдут! — возразил Максим. — Точно так. Слышишь? Тишина гробовая...

— Ну, где же тишина? — прислушался Адам. — Ветер в звоннице шумит, вон птица свистнула... Ну, не хотите идти, вот вам...

Адам растегнул верхние крючки на шинели и вынул из-за пазухи большой кусок капустного пирога, завернутый в белую тряпицу. Видимо послушницы на монастырской кухне все-таки чттили Адама, не исключено, что именно за пожертвованное им ребро.

Увидев пирог, пышный, с румяной корочкой, восхитительно пахнувший хлебным духом, Максим вдруг почувствовал, что очень голоден, вспомнив, что ничего не ел с обеда. Он скинул рукавицы, без лишних разговоров взял пирог и с аппетитом принялся за него, подставив ладонь, чтобы не обронить капустную начинку.

Еще теплый пирог напомнил Максиму трапезную, аппетитные запахи с кухни, жар, расходящийся от кухонных печей к потолку, смолистый запах сосновых дров, отходящих от мороза в тепле, бряканье металлической посуды на мойке, послушниц, разносящих по столам нарезанные большими кусками караваи белого хлеба...

И среди тех послушниц одну, совсем юную девушку, почти ровесницу ему — лет семнадцати, за которой невольно наблюдал уже несколько дней, а сегодня невзначай встретился с ней глазами. Он знал, что зовут послушницу Алена — имя, по просьбе Максима, узнал расторопный Адам.

Игуменя Мириамна прочитала молитву, служивые выпили по чарке и, постукивая деревянными ложками, навалились на исходящие чесночным ароматом щипки, золотистые от моркови и лука, что обжарены были на постном масле. Ели по-домашнему, без спешки, словно не существовало за стенами шальной метели и наступающего по той метели неприятеля. Вылебывали, пока ложка не начинала греметь о дно тарелки, затем аккуратно переливали остатные капли в ложку. Некоторые из солдат приберегали белый хлебушек к чаю, а в щипки крошили ржаные сухари, горками лежавшие в плетеных туюсках.

А послушницы уже несли на деревянных подносах пироги с картошкой и грибами, а еще капусту, квашенную с брусникой.

Но весь этот обильный харч не особенно привлекал Максима — он опять искал глазами Алену, а увидев, снова пытался поймать ее взгляд.

Ужинать Максим не пошел...

Конечно, монашеский постриг и монастырское бытие для Максима — сына священника — не являлись чем-то неведомым. Но последние полтора года, проведенные в совершенно других условиях, на войне, именно на войне, а не рядом с войной, не на расстоянии, как раньше, а непосредственно между жизнью и смертью, заставляли Максима оценивать совсем по-другому то, что в дни иные казалось простым и понятным.

А равно заставляли задавать вопросы самому себе и самому же искать на них ответы.

«Почему, — ломал голову Максим, — почему русские воюют с русскими? Ну, когда с японцами воевали — понятно. С немцами тоже... Те — чужаки, враги наши вечные, не впервой воевать на нас идут. А вот когда

свои? Так со своими-то, это для чего? Нынче вот бьемся мы с красными, а они бьются с нами — русскую кровь друг другу пускаем, а за что? За веру? Да! Большевики — христопродавцы. Так, дальше: за царя?.. Не знаю, царь ведь отрекся... За отечество? Да, это главное... Но ведь наша русская земля и красным тоже отечество...»

Таковыми думами Максим часто маялся в последнее время, жизнь то и дело подбрасывала «непонятки», как он сам их называл. А без ответа или хотя бы без поиска ответа сердце не находило покоя. И здесь, в монастыре, новый опыт, что дала Максиму война, новое понимание человеческой сути заставили его задуматься о таком непозволительном «почему», о каком раньше и подумать-то православному было совестно — о необходимости самопожертвования ради монашеской жизни.

Много сокровенных историй узнал Максим от тех, с кем жил он нынче окопную жизнью. Историй искренних, трогательных, наполненных тоской по женам и детям, оставленным в далеких городах и селах, исходящих грустью любовной по зазнобам, от желания увидеть которых «хоть на время малое» томилось сердце. И щемящее звучание услышанному придавало то, что некоторые из тех, кто поведал Максиму о потаенных чувствах, уже в земле сырой упокоились.

«Монашеский подвиг — угнетение плоти в угоду духу, не есть ли неверное толкование Божьих слов? — размышлял Максим. — Не чрезмерная ли это услужливость Господу Богу? А ведь семья и материнство для женщины — путь к спасению души. О том сказано в послании апостола Павла: “Не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием”. Вот батюшка мой — служитель Божий, и матушка — благочестива в православной вере, а нас в «любви и в святости» пятерых родила... Материнство через непорочное зачатие только для рождения Христа возможным стало... Всем остальным... Иное дано. И каждому человеку, входящему в самостоятельную жизнь, то завещано: “*Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть*”. Значит нельзя чуждаться семьи, а в семье — любви плотской...»

Но, несмотря на серьезность своих мыслей и даже некоторую радость, что сподобил Господь задуматься на эту тему, сам Максим находил в своих размышлениях очевидный изъян. Мысли эти бередили его душу именно тогда, когда видел он Алену. Он не мог взгляда отвести от ее тонкого гибкого стана, легкой поступи, и щеки его заливал румянец, когда он, немного опустив глаза, видел, как при ходьбе плавно, словно легкая волна на реке, движется грудь Алены, хоть и скрытая под широким облачением послушницы, но все же явственно угадываемая Максимом. Более того — и стан, и грудь воображение дорисовывало в искушающих телесных очертаниях...

А сегодня в трапезной их взгляды встретились, и Максим увидел в больших зеленых глазах Алены отражением собственных чувств и желаний живой, жаждущий жизни свет...

— Ваше благородие, — отвлек Максима от приятных мыслей Адам, — вам бы поспать! Ну чего зря маяться? Я уж неприятеля не проспую!

После съеденного пирога и вправду потянуло в сон. И Максим, уступив увещеваниям, спустился вниз, добрел до своего топчана, лег, накрывшись шинелью, и по-детски легко, мгновенно заснул, и безмятежно проспал до самого рассвета. Так же безмятежно, как спал под сенью родительского дома, словно смерть не рыскала за стенами монастыря в людоедском желании вкусить человеческой крови.

Но проснувшись, Максим сразу же вскочил со своего (показавшегося ему с устатку таким уютным) ложа и, не умываясь, поспешил на башню, на бегу зачерпывая в пригоршни снег и растирая им лицо, чтобы окончательно вернуть себе телесную бодрость и бодрость сознания. Отфыркиваясь от таящего на лице снега, Максим пролетел винтовую лестницу на башню, перескакивая через две ступеньки, и сбавил шаг, лишь завидев Адама, что забавно пританцовывал возле пулемета, пытаясь согреться.

— Тут, ваше благородие, вчера человек за свечами из города приходил — алтарник собора Петра и Павла, — сразу же забубнил Адам, продолжая разговор, словно Максим и не отлучался на большую часть ночи. — Сказывал, что части наши со всей артиллерией на вокзале в эшелоны грузятся и уходят в сторону Новониколаевска. Мост через Обь пока наш, его бронепоезд охраняет. А вот охрана моста разбежалась... Да еще из Рубцовки бронепоезд прибыл, тот, что к большевикам переметнулся. Прибыл и против станции встал... Так-то... Ничего веселого из этого не выудишь. И вот такая у меня думка: мы-то как, тоже по вагонам рассядемся или в кельях зимовать будем? Оно бы ничего, коли всем дружно стоять. А то ведь одним-то нам против красных не управиться.

— Много тебе тот алтарник поведал, — улыбнулся Максим. — Вроде и не алтарник, а пророк Моисей... Приказа уходить не было. А рассуждать — не наше дело. В штабе лучше знают...

— Ах вы, черти веревочные! — неожиданно матюкнулся Адам, совершенно забыв о почтении к святому месту.

— Ты что?! — с удивлением повернулся к нему Максим.

— Вон они, ваше благородие, меж деревьев... Красные! Во-он они, шагов пятьсот, не больше... — Адам взволнованно тыкал пальцем в серый сумрак леса.

Максим быстро подошел к оконному проему в стене башни, на ходу выковыривая из промерзшего чехла висевший на груди полевой бинокль, и прижал к глазам холодные каучуковые кольца окуляров. В утренних сумерках хорошо различалась колонна партизан, приближающаяся со стороны села Лебяжье, слаженно в движении рассыпаясь цепью и охватывая монастырь полукольцом.

Максим навалился грудью на оконный проем и высунулся наружу, чтобы еще раз оценить возможный сектор обстрела, и в это время грянул

одиночный выстрел, и пуля, вырвав клочок шерсти из башлыка Максима, царапнула по уху.

Максим вскрикнул, пошатнулся от неожиданности, вскинул руку к голове, а уже в следующую секунду Адам, придерживав его за локоть, увел вглубь башни.

Из леса раздался разрозненный залп, и еще несколько пуль глухо чиркнули по кирпичным стенам башни. На звоннице ударили в колокол.

Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!

— Ну что же вы, ваше благородие? Ранены? — забеспокоился Адам. — Вот и кровь...

Максим убрал руку от уха — на пальцах атели капли крови.

— Пустяки, — успокоил Адама Максим, в горячке совсем не чувствуя боли, — слегка задело... Пулемет к бою!

Адам сорвал тулуп с «максима» и, быстро, но аккуратно свернув овчинку, положил на скамью. Затем вынул из коробки такую удобную на морозе пулеметную ленту на основе льняной ткани, быстро вставил наконечник ленты в окно приемника, дернул ленту влево и опустил рукоятку. Зарядив, Адам отшагнул от пулемета, и за дело взялся Максим — подкатил пулемет дальше в проем, чтобы увеличить сектор обстрела, установил прицел.

Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!

Не умолкая, гремел на звоннице колокол.

Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!

С башни из-за колокольного звона не было слышно команд, зато хорошо виделось, как, застегивая на ходу шинели и надевая папахи, из жилого помещения выбегают солдаты с винтовками в руках. Затем ворота монастыря распахнулись, и унтер-офицеры, разделив солдат на две цепи, вывели их за стены в подготовленные заранее окопы по правую и левую сторону ворот. Солдаты, стуча сапогами по мерзлым комьям земли и оскальзываясь на обледенелых брустверах, рассредоточивались в окопах, занимая круговую оборону. Вел стрелков лично командир полка капитан Богославский.

Колокол смолк, и тут же вослед, разрывая морозный воздух, прозвучала команда Богославского:

— По атакующему противнику прицел постоянный. Стрельба пачками. Готовсь!.. Пли!..

Грянул стройный залп.

Пули, сбивая на лету ветки, кровожадно ринулись в лес в поисках жертвы, но по большей части смогли поживиться исключительно смолистой мякотью безмятежных сосен.

Из леса грянули не такие стройные, но множественные выстрелы, и через мгновение встречнолетающие солдатскому залпу пули, горячася от бессильной ярости, выбивали фонтанчики снега из брустверов окопов и расплющивались о стены монастыря.

Максим, заметив за поваленной сосной повторяющиеся вспышки винтовочных выстрелов, сбросил рукавицы, поднял предохранитель, подал

вперед до отказа спусковой рычаг, и его «максим» заговорил, обкладывая неприятеля свинцовой бранью, вышибая лучину из сосны-укрытия.

— Готовсь!.. Пли!..

Грянул новый винтовочный залп.

Сонная белка рванулась из кроны вниз по сосновому стволу и, когда до спасительного наста, под который можно было спрятаться и переждать этот грохот, что внезапно изменил зимнюю лесную жизнь, оставалось не более трех вершков, была разорвана случайной пулей.

С башни ахнула пушка, факельно полыхнув, довольно далеко подсветив снег желтоватым масляным светом. Потом ахнула еще раз. И еще...

Бой вспыхнул ярко, но горел не долго. Вскоре перестрелка начала тлеть, угасать, пока не погасла вовсе.

Серая лесная мгла, похоже не спешащая стать белым днем, смотрела на защитников монастыря сотнями пар невидимых глаз. Над местом недавнего боя повисла тишина, и только лоскуты тонкой коры, содранные с сосен пулями, шелестели на ветру.

Но тишина продлилась недолго.

Из леса раздалось протяжное простуженное «Ура-а-а-а!», подхваченное сотнями голосов, и к монастырю, утопая по колено в снегу, цепью двинулись красные партизаны-мамонтовцы, на ходу стреляя из винтовок.

— Готовсь!.. Целься!.. Пли! — уже сорванным до хрипоты голосом командовал капитан Богославский.

«Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!» — так же хрипло и надтреснуто вторил ему колокол на звоннице.

Ударил залп из окопов, прореживая цепь партизан. И только самые бойкие из них, прячась за деревьями, успели подобраться на близкое расстояние и метнули ручные бомбы в окопы. Но ни одну из бомб добросить не удалось — все они разорвались перед бруствером, засыпав окопы комьями мерзлой земли.

В ответ громыхнула пушка, но пушечный снаряд, со свистом пролетев над головами наступающих, разорвался далеко за их спинами, надломив и с треском обрушив высокую сосну.

— Ленту придерживай! — скомандовал Максим Адаму, поднявшемуся по лестнице с патронными коробками в руках.

Адам подхватил ленту, и Максим ударил длинными очередями, заставив цепь сначала остановиться, а потом и вовсе залечь.

Около четверти часа с обеих сторон шла активная перестрелка, впрочем смерти никому не причинившая.

Шла-шла, да и сошла на нет.

Партизаны, подобрав раненых, вновь отступили. Похоже, Богородица — покровительница монастыря — своею чудесной силою давала людям возможность не дойти до края в своей лютой злобе. Да вот только не каждый голос с небес бывает услышан...

В неведении и тянувшемся ожидании время стало густым, словно студень. Метель, что выказывала свои ветреные капризы с самого утра,

разыгралась безудержно, не на шутку и мотала кроны сосен так, будто это были не матерые столетние деревья, а белоголовые одуванчики.

Адам смешно сморщился, заводил носом и чихнул — иногда порывы ветра бросали в лицо дымной гарью. Это партизаны, выставив дозоры, отошли глубже в лес и развели костры, чтобы погреться.

А в окопах сделать то же самое не могли, и вскоре метель забила окопы снегом, сравнив их с землей и засыпав и без того промерзших до костей стрелков. Пришлось завести их обратно в монастырь, оголив первую линию обороны.

Глядя на то, как тяжело идут стрелки, увязая в рыхлом свежем снегу, Максим вдруг почувствовал усталость в напряженных ногах и бессильно опустил на скамью, на заботливо подстеленный Адамом тулуп. И тут же заныло раненое ухо, про которое Максим в горячке боя совсем забыл.

— Облепишным маслом или хоть жиром бы гусиным смазать, — посоветовал Адам. — Идите в трапезную, ваше благородие, там послушницы об вас похлопочут, заодно подхарчитесь.

Максим (покраснев и отвернувшись при слове «послушницы») идти отказался.

— Иди ты, Адам, — нарочито бесстрастным голосом на правах старшего по званию приказал Максим. — Что-нибудь нам поесть принеси. И... поспать бы тебе.

— Ничего, мы не спать привычные... — улыбнулся Адам, догадываясь, о чем не смог попросить его Максим. — Я сбегая — одна нога здесь, другая там!

Но подхарчиться не получилось — партизаны снова пошли на штурм. На этот раз молча, без криков «ура» тащили они приставные тяжелые лестницы, только что сделанные из стволов молодых сосен.

И эта атака почти удалась, будь лестницы покрепче — ступеньки, закрепленные кусками вожжей и пенковыми веревками, плохо держались из-за того, что сырые веревки деревенели на морозе и теряли эластичность. Удалцам удавалось забраться до самой кромки стен, но ступеньки под тяжестью тел срывались вниз, после чего разрушалась сама лестница.

В то самое время стрелки внутри монастыря, готовясь со всем радушием встретить непрошенных гостей, рассредоточивались по периметру, держа наготове винтовки с примкнутыми штыками. Капитан Богославский, сам с трехлинейкой на плечевом ремне, быстрыми шагами обходил строй солдат, подбадривая крепким словом.

Так и не успев поживиться ничем съестным в трапезной, прибежал запыхавшийся Адам и сразу включился в бой. Адам менял ленты, а Максим бил по карабкающимся на стену партизанам из пулемета, но для его башни оставалось много мертвых зон у стены. Пушка, бьющая с башни напротив, в деле отражения подошедшего вплотную неприятеля оказалась бесполезной, и, если бы не шаткость лестниц, быть бы партизанам в монастыре, а там, в рукопашной, судя по их числу (а они имели явное преимущество), сломить сопротивление стрелков удалось бы быстро. Именно

поэтому, в расчете на рукопашную, многие партизаны так и лезли на стены — без винтовок, с шашками наголо, с короткими коваными пиками или даже с топорами.

В боковой проем башни Максим увидел голову почти взобравшегося на стену партизана. Мужик в папахе с красной лентой наискосок, с кучерявой черной бородой, набитой снегом, весело скалил зубы и, упершись топором в цоколь стены, пытался взобраться на самый верх. Максим как под гипнозом смотрел на эти оскаленные в диковатой улыбке зубы, на горящие азартом глаза и на топор, поблескивающий холодным острием.

И вдруг бородатый мужик мгновенно исчез, словно кто-то дернул его снизу за ноги.

В этот самый момент штурмующих подвели лестницы, обрушив тех, кто добрался до верха, на головы нижних и обернув их острые сабли и топоры против своих же.

И штурмующие снова повернули вспять.

А через несколько часов в очередной раз пошли на приступ, в этот раз с более крепкими лестницами, видимо раздобыв для такого дела гвоздей.

Но и обороняющиеся учли свои ошибки — со второй башни, выходящей к лесу, сняли пушку и перевели туда один из пулеметных расчетов, что стоял на башне, защищающей монастырь со стороны реки Барнаулки, оставив там вместо пулемета несколько сообразительных и метких стрелков. Так что теперь подходы к самой удобной для штурма северной стене находились под перекрестным пулеметным огнем, исключаяющим большинство мертвых зон.

И эта атака захлебнулась и откатилась в лес.

Прошел час бездействия, еще один, и вдруг у восточной стены грохнуло так, словно нежданная гроза пришла с реки и удивила своей зимней несвоевременностью. Оказалось, что партизаны заложили под стену и взорвали порох, но заряд оказался слабым, и стена устояла почти без разрушений, если не считать небольшого пролома, в который возможно было просочиться человеку небольшого роста. Стрелки с башни хорошо разглядели, как в сгущающихся ранних сумерках двое партизан-бомбистов вели под руки третьего, видно пострадавшего от своей же пороховой закладки.

В злоумышленников стрелять не стали, а проем немедленно заложили битым кирпичом и подперли тяжелой телегой. Судя по всему, нового взрыва не предвиделось — на него у партизан явно не хватало пороха.

Монастырь ждал очередного штурма.

Никто не знал, что в это время двое разведчиков — подпоручик Мясищев и ординарец Богославского фельдфебель Новоселов, отправленные утром капитаном в штаб к полковнику Камбалину, — докладывали капитану обстановку в городе и устные распоряжения Камбалына для монастырского гарнизона. В нарушение воинского устава производился доклад в присутствии игуменьи Мириамны.

Говорил в большей степени подпоручик Мясищев, а фельдфебель Новоселов в основном кивал головой, подтверждая сказанное. Разведчики, оба помороженные (оттого что, не желая рассекретить себя, вынуждены были ждать темноты, лежа в снегу), приняли перед докладом для сугрева по полному стакану шустовского коньяка «Финь Шампань» из личных запасов капитана Богославского и теперь, осоловелые от тепла и алкоголя, держались из последних сил.

— В городе бардак, ваше благородие, — переминаясь с ноги на ногу, рапортовал Мясищев, тяжело ворочая во рту непослушным языком. — Железнодорожная станция под угрозой захвата большевиками и сочувствующими им элементами. В железнодорожных мастерских — бунт, неподчинения, саботаж... Охрана моста перешла на сторону бунтовщиков вместе с оружием. Гарнизону приказано пробиваться к станции — она под надежным прикрытием нашего бронепоезда. Грузимся в подготовленные вагоны и выдвигаемся в сторону Новониколаевска. После отхода всех частей мост через Обь будет взорван. Оружие, которое невозможно вынести, приказано привести в негодность.

Весь доклад капитан Богославский, поскрипывая сапогами, ходил от окна до окна, пристукивая мундштуком папироски о серебряный портсигар.

— Да-а, хорошо сказано, пробивайтесь! А как это сделать через боевые порядки красных и без поддержки кавалерии?! — после длительной паузы заговорил Богославский и тут же спохватился, заметив, что подпоручик замер в удивлении, перестав даже переминаясь с ноги на ногу. — Идите, братцы, вам отдых положен...

Дождавшись, когда за подпоручиком и фельдфебелем закрылась дверь, капитан Богославский обратился к игуменье Мириамне:

— Понимаете, в чем дело? Даже если мы прорвем оцепление красных, нам предстоит бой, который даст убитых и раненых... И что получается — они приказывают мне бросить и тех и других? Ну хорошо, пусть даже так... Но пока будет идти бой, а его еще надо выиграть, пока уцелевшие из нас пешим порядком дойдут до станции, там уже и духа не останется воинского эшелона и мост будет взорван...

Богославский вновь вспомнил о папиросе, постучал ею о портсигар, но в присутствии игуменьи закурить так и не решился, смял папиросу и бросил ее на стол.

— Вот что я думаю, Сергей Евгеньевич, — медленно, едва ли не распевно заговорила игуменья, — с Божьей помощью мы хранили вас до сей поры, сохраним и впредь. У вас свое войско, а у меня — свое. Вооружу своих насельниц иконами да хоругвями, выйдем мы супротив безбожников и молитвою путь им преградим. А вы, Сергей Евгеньевич, уводите своих воинов через восточные ворота, там сразу крутой спуск к реке, ночь скоро, а по темноте никто вас не увидит... Сберегите солдатиков, не кладите их жизни зря. И не казните себя, не считайте, что прячетесь за бабьими спинами, с нами Матерь Божия, мы под ее защитой и покровительством,

уж она-то защитит нас всецело. Или вы в Господа Бога и в Пресвятую Богородицу не веруете, Сергей Евгеньевич? А коли веруете, так времени зря не теряйте.

Богославский слушал тихую речь игуменьи Мириамны с удивлением и благодарностью одновременно, и решение, по исходу ее слов, созрело в его голове мгновенно. Ничего не ответив игуменье, он торопливо взял со стола колокольчик и позвонил, вызывая адъютанта.

Менее чем через полчаса рота Третьего Барнаульского Сибирского стрелкового полка строилась в две шеренги у небольших восточных ворот монастыря.

А Максим и Адам скрепя сердце колдовали возле своего новенького «максима», калеча его, дабы не достался он в руки противника и не был обращен против них же самих. Вернее, колдовал один Адам, пробиная позаимствованным у кузнеца зубилом кожух пулемета. Максим же не в силах смотреть на «варварство» Адама, отвернувшись от своего металлического тезки, крутил в руках боевую пружину ударника. Сам ударник и детали возвратного механизма временно покоились в карманах шинели Максима и предназначались к утоплению в Барнаулке. Собственно, без этих деталей пулемет уже не годился для стрельбы, но Адам, выдав довольно странную фразу: «Я тоже не хотел бы живым сдаваться в плен», испросил разрешения превратить бывшего боевого друга в металлолом.

Да-дах! Да-дах! Да-дах! — Адам бил двойным ударом, сначала намечая, а затем со всей силы опуская молоток на зубило.

И каждый удар двойным эхом отзывался в сердце Максима, загоняя и без того неважное настроение в полосу полной тоски. К тому же Адам еще и песню затянул соответствующую:

Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется,
Там сердце девичье забьется
С восторгом чувств — не для меня...

К южным воротам стекались монахини и послушницы, некоторые из послушниц, по настоянию игуменьи Мириамны, повязали на голову пестрые шали. Многие несли иконы — и большие с резными окладами, и малые без окладов. А еще хоругви. Собирались как на Крестный ход.

...Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня...

Почти бесстрастно продолжал петь Адам, вкладывая всю злость и досаду в удары молотка по зубилу.

Да-дах! Да-дах! Да-дах!

Закончив с пулеметом и забрав с собой винтовки, Максим и Адам спустились с башни. Внизу Адам, с многозначительным выражением лица, метнулся к трапезной, а Максим направился в сторону группы послушниц и монахинь, в нерешительности постоял неподалеку от них, надеясь увидеть Алену, но, так и не отыскав ее, пристроился в хвосте колонны стрелков, что стояла у восточных ворот, щетинясь остриями примкнутых штыков.

В это время фельдфебель Новоселов — ординарец Богославского — и по обыкновению оказавшийся в гуще событий Адам с усилием распахнули створки южных ворот.

Монахини запели и потянулись к выходу.

Первой шла старенькая мантийная монахиня с иконой Божией Матери на древке, слева и справа несколько рясофорных монахинь несли фонари, с горящими под стеклом свечами, далее, ступая величественно, словно в Крестный ход на Пасху, следовала сама игуменья Мириамна в черной рясе и черном апостольнике. Монахини несли распятие на древке, иконы, Библию, хоругви...

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с тобою;
Благословенна Ты в женах
И благословен плод чрева Твоего,
Яко Спаса родила еси душ наших...

Максим перекрестился и поклонился лику Богородицы.

— Бгатцы, бгатцы мои, пгавославные! — картаво запричитал солдатик с прожженной на спине шинелью, стоявший через две шеренги от Максима. — Что же это деется! Пошто бабы эти вогота откгывают? Сметги нашей хотят? Пгямо в гуки к пагтизанам отпгавляют...

— Помолчи, коли православный, — пихнул в бок картавого солдатика стоящий с ним рядом стрелок с забинтованной по самые брови головой. — И дыши носом, пока бабы за тебя воевать будут...

— Разговорчики в строю! — вполголоса прикрикнул подошедший к колонне капитан Богославский. — Слушать меня внимательно! И выполнить все в точности. От того зависит, будем ли живы. Идем как на марше. Штыки отомкнуть. Выполня-ать команду!

Стрелки вразнобой залязгали штыками. Дождавшись, когда лязг металла стих, Богославский продолжил:

— Выходим через восточные ворота в колонну по два. Сразу же спускаемся вниз к Монастырскому мосту, переходим на тот берег, ждем дозор на Булыгинской заимке. Оттуда пешим порядком продвигаемся к железнодорожной станции. Идем без промедления и без остановок. Не растягиваемся — дистанция не более пяти шагов. На станции грузимся в воинский эшелон. У меня всё. С Богом! Открыть ворота. Выставить дозор! Рота, напра-аво! Ма-арш!

Заскрипела воротина, и первые шеренги стрелков растворились в проеме, шагнув из-под укрытия монастырских стен в разыгравшуюся метель, что равномерно, словно колдун, готовящий магическое зелье, смешивала пелену белого снега с темнотой быстро наступающих сумерек. Следом за первыми шеренгами метель, порция за порцией, поглотила в свое бездонное чрево и остальных стрелков, послевкусием оставляя глухой топот сапог по мерзлой дороге.

«Пора и мне», — подумал Максим и в ту же минуту к нему подбежал запыхавшийся Адам.

— Ваше благородие, обождите меня ради Христа, забегу к кузнецу на единый миг... Инструмент надо бы вернуть! — зачастил Адам, в подтверждение слов крутя в руках молоток и зубило. — Потом мы наших догоним...

— Хорошо, — согласился Максим, — буду ждать у источника.

Адам нырнул в проем и сразу пропал в снежной пелене.

«Похоже, я последним покидаю этот тонуший корабль, — невесело подытожил Максим, выходя из монастыря под скрип закрываемой за ним воротины. — А почему тонуший? Чушь полнейшая...»

Ветер недружелюбно толкнул в спину и бросил в глаза горсть колючего снега. И от этого тычка Максим едва не упал — ноги вдруг стали как ватные и в голове загудело, будто рядом опять бухали солдатские сапоги, только не по снегу, а по брусчатке.

Слабость и шум ушли так же внезапно, как и проявились.

Максим прислушался — ему показалось, что порыв ветра принес сверху, с лесной дороги, обрывок молитвенного пения:

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с тобою...

Но, кроме шума метели в сосновых кронах, порою переходящего в вой, выудить из принесенных ветром звуков Максим ничего не смог.

Внизу, на подходе к Монастырскому мосту, извивалась серой лентой колонна стрелков, постепенно теряясь в темноте и снежном вихре. Максим тоже двинулся вниз, за колонной, но, дойдя до Свято-Никольского источника, остановился дожидаться Адама.

На потемневших досках часовни хорошо, словно подсвеченный огнем лампы, читался лик иконы Николая Чудотворца.

«Господи, — вдруг подумал Максим, — я же в эти дни не молился ни единого разу!.. Молитва есть Святителю Николаю... Сейчас, сейчас...»

Но в голове вместо молитвы опять забухали сапоги, а тело пробил озноб.

«Сейчас, вспомню, сейчас...» — повторял Максим, прислонил винтовку к скамье, встал у источника на колени, зачерпнул воды и брызнул в лицо.

Немного полегчало, Максим поднялся, перекрестился с поклоном и зашептал слова молитвы:

— Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной. Аминь.

Максим перекрестился, но завершить знамение не успел — за спиной раздался голос Адама.

— Закончили, ваше благородие? Я поджидаю... Я думаю, что надо вам сначала рану смазать, я ведь жиру гусяного раздобыл, еще тогда! Только минуты нам не выдалось на то...

Пока Адам тараторил, Максим присел на ступени часовни и развязал башлык.

— А ты знаешь, Адам, что одному благочестивому человеку случилось здесь видение — огненно-водяной столб, а в нем образ святителя Николая Чудотворца. В том самом месте, где явлен был святитель, по сей день из земли бьет родник, что вкупе с молитвой исцеляет больных и страждущих.

Адам отрицательно покачал головой, присел рядом, макнул палец в склянку с жиром и принялся смазывать ухо Максима, оцарапанное пулей.

— Не слышал про то. Огненно-водяной столб. Скажите, пожалуйста... Ваше благородие, да у вас жар, однако, — изумился Адам.

— Ничего, ничего... — отозвался Максим. — Это ничего. Доберемся до станции... В поезде отосплюсь, к утру пройдет...

— В поезде... Ну ладно, в поезде так в поезде, — невесело усмехнулся Адам, полез в карман шинели и вынул две просфоры. — Я тут, ваше благородие, просфорками разжился, суховатые, но нам ли форсить и жареных поросят требовать. Водицы святой испили, просфорки погрызем — считай, что причастились. Можно и на смерть идти.

Адам, быстро похрустев просфорой, что оказалась ему на один зубок, легко поднялся и пошел вниз по тропинке, негромко напевая ту же песню, что завел еще в монастыре, видимо, не в силах избавиться от ее горькой сути:

...Не для меня журчат ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с черными бровями,
Она растет не для меня.

Не для меня весной родня
в кругу домашнем соберется,
«Христос воскрес!» — из уст польется
в день Пасхи нет, не для меня!..

— «На смерть идти». На какую смерть, Адам? — запоздало спросил Максим, глядя в широкую спину Адама, маячившую сквозь крутящиеся снежные вихри в нескольких шагах впереди. — Мы идем на станцию...

Но до железнодорожной станции они не дошли, едва лишь свернули с Кузнецкой улицы в Соборный переулок, как Максим просто сел в сугроб: ноги ослабли и не слушались, лоб его покрылся испариной, тело сотрясала мелкая дрожь.

— Да-а, дело худо, ваше благородие, — загрустил Адам, — вас лечить надо, вас бы под присмотр. Есть ли к кому?

— Недалеко, — с трудом проговорил Максим, — на Петропавловской линии живет отец Николай, священник собора Петра и Павла...

В доме отца Николая еще не спали и ночных гостей приняли спокойно и радушно. Но Адам гостевать не стал, сдав с рук на руки Максима, он тут же ушел на железнодорожную станцию, ушел по настоянию Максима, не желавшего, чтобы их сочли дезертирами.

Вернулся Адам довольно быстро.

Максим уже спал, и Адам собрался было уйти, но отец Николай Адама не отпустил, провел его на кухню, где их поджидал кипящий самовар, домашние лепешки из пресного теста и медовые соты.

— Можете все, что творится на станции, рассказать мне, — разливая чай по стаканам, предложил отец Николай. — Я все в точности передам Максиму. Можете довериться мне. Мы с батюшкой Максима — давние друзья, одну семинарию закончили... Впрочем, не обо мне сейчас речь, рассказывайте вы.

Адам взял со стола стакан в серебряном подстаканнике с отлитыми в узор летящими ангелами и некоторое время грел застывшие на морозе руки о нагретый подстаканник, забыв про чай, пока отец Николай не подсказал ему:

— Но лучше сначала чаю попейте с травками, пока совсем не простыли, да медку откушайте, вам на пользу пойдет.

— К станции уже не подойти — вооруженные рабочие из мастерских на каждом углу, да и партизаны тоже в городе... — спокойным, неожиданным спокойным для отца Николая, голосом заговорил Адам, прихлебывая горячий чай. — Перестрелки кое-где... Основные части отправлены эшелонам на станцию Алтайская. Штаб полковника Камбалина тоже там — стало быть, Барнаул полностью отдается во владение красным... Передайте: можем уйти ночью через Обь, по льду, хоть завтра. Найти коней — моя забота. Как их благородие, господин унтер-офицер решат.

— Я бы хотел оставить Максима у себя, — мягко, словно извиняясь перед Адамом за то, что вынужден вмешиваться в чужие ранее намеченные планы, заговорил отец Николай, — ослаб он очень, ему подлечиться надо. Мы уж и то — микстурой хотели напоить, бульоном... Все тщетно. Горло у него так заложено, что глотать он совсем не может.

— Это как их благородие решат, — ответил Адам, вставая и расправляя складки на гимнастерке, — за Обь подаваться или остаться тут. А для

горла — керосином полезно лечиться. Ложку выпил, через час и дышишь, и пищу принимаешь. У нас в деревне так лечат. Так что буду ждать его завтра к полудню в...

— Приходите в наш собор, — поспешно подсказал отец Николай, — там спокойнее.

— Так что буду ждать его в соборе. Прощевайте, батюшка. Благодарим за чай, за сахар... — бубнил Адам, надевая шинель, и, увидев винтовку Максима, так и стоящую в углу у порога, спохватился. — Винтовочку их благородия я заберу, чтобы вам не случилось от нее неудобства...

На следующий день Максим в условленное время поджидал Адама в Петропавловском соборе. Здесь, внутри храма, стояла совершенно мирная тишина, особенно остро это чувствовалось после улицы, где все было в движении, ходило ходуном, нередко выплескивалось от одного до другого края тротуара ярко-красными бантами, а то и флагами над серыми одежками и белыми сугробами, да еще и гомонило, пело под гармошку...

Максим, по-прежнему ослабленный болезнью, несмотря на протесты отца Николая, встал утром с постели. Керосин, испробованный как лекарство накануне вечером и нынче утром, помог воспаленному горлу Максима и не просто помог, а словно чудодейственный бальзам почти полностью снял отек с горла, позволил поесть и принять порошки.

— Послушай, Максим, — увещевал отец Николай, — тебе не следует уходить, ты болен... Прости, может сейчас не время для подобных бесед, но... Ты как сын мне. А посему — послушай старика. Ситуация складывается не в пользу Колчака. Народ не с вами. Это определено. И еще — определено то, что эта война ведется в угоду дьяволу. Свои против своих. Подумай об этом. Об этом надо подумать, подумать обязательно... Ты молод, не во всем разобрался. Оставайся у меня. Возьмем тебя в храм на звонницу, звонарем. И петть будешь на клиросе — так легче укрыться. Господь вразумит тебя на дальнейшее, дай только себе времени на то вразумление.

— Спаси Бог, отец Николай, — поблагодарил Максим и, улыбнувшись виновато, добавил. — Пусть сегодняшней день все и решит. А сейчас — мне нужно идти.

От внутреннего жара и от теплого на вате пальто, ссуженного ему отцом Николаем, Максим весь взмок, пробираясь сквозь толпы разномастного люда, заполнившего близлежащие к площади улицы и саму Соборную площадь. Происходящее казалось ему невероятным — еще сутки назад с Соборной артиллерия морских стрелков была по отрядам красных партизан Мамонтова у Ерестной, а сейчас повсеместно бурлили уличные гулянья, чуть ли не такие же, как на Пасху или Рождество.

Пробившись в храм, Максим взял свечку, но ставить не торопился — нужно было отдышаться и унять лихорадочную дрожь в руках и ногах. Он, стараясь, чтобы его никто не видел, встал в левом приделе и прислонился к стене. Немного мутило, кружилась голова, но даже сквозь

болезненную муть сознания его насторожило случайно услышанное слово «монастырь».

— ...ну вот, как они в женский монастырь зашли, так безобразить и начали...

— Да кто они-то?

— Те, что власть в городе взяли, — партизаны эти...

— И что они, нехристи, небось иконы порушили?

— Да что им иконы, грешникам, там женское сословье им приглянулось, особенно молодухи-послушницы...

Две пожилые горожанки вышли из-за портала, увидев Максима, сразу же замолчали и, прибавив шагу, прошли к алтарю.

«А-а-а... А-а-ле-на...» — будто бы кто-то в отчаянии шепнул или скорее простонал на ухо Максиму, и он еще сильнее прижался к стене, чтобы не ухнуть в пропасть вослед за уходящим из-под ног полом.

— Ваше благородие! — Максима подхватили неведомо чьи сильные руки и удерживали некоторое время, давая возможность Максиму перевести дух.

И по «благородию», и по голосу Максим безошибочно узнал Адама.

— Адам, голубчик, — придерживаясь за стену, Максим повернулся к Адаму, — как же я рад тебя видеть.

Это и вправду был Адам, но с трехдневной щетиной и в латаном зипуне да малахае, более похожий на крестьянина, приехавшего в город за скобяным товаром.

— Эк вас угораздило с этой хворью, ваше бла... — Адам замялся и, сбавив голос, договорил. — Вы уж не сердчайте, с «благородием», нынче такое дело, осторожничать приходится... Здесь, в храме, оно еще ничего, а вот на улице — там воздержаться бы... Я вот винтовочки наши припрятал и шинелишку свою до поры приберег, но погоны срезать не ста-ал. Авось еще сгодятся, ваше бла... Тьфу ты, так вот и пляшет на языке!

— Бог с ним, с «благородием», Адам.

— А я, без чинов! Буду величать вас Максимом... — нашелся Адам. — Кто вы по батюшке-то будете?

— Серафимович!

— Вот! Максимом Серафимовичем. С нашим почтением...

— Валяй, Адам, меня так еще никто не звал.

— Вот и ладно! — подытожил Адам и, сдвинув шапку на лоб, почесал в затылке. — Эта забота не особо-то сложна была. Дальше — больше. Вам бы, Максим Серафимович, к доктору да в лазарете отлежаться, но...

Адам огляделся вокруг и, убедившись, что поблизости никого нет, продолжил:

— Сегодня ночью можем уйти за Обь, к своим. Коней я добуду, кони, можно сказать, есть... Доберемся до станции Алтайской, да хоть до самой Тальменки, если понадобится. Найдем капитана Богославского, поскольку он есть наш командир, — Адам говорил отрывисто, давая Максиму возможность осмыслить его предложение, и так же отрывисто

поглядывал на него, ожидая какой-нибудь реакции на сказанное, но Максим словно не слушал Адама, глядя мимо него. Адам прервал свой рассказ и спросил: — Что же вы молчите, Максим Серафимович?

— Видишь вон ту икону, Адам? — пропустив мимо ушей вопрос, совсем о другом заговорил Максим. — Это святые апостолы Петр и Павел. У Петра ключи от рая, а у Павла посох и книга... Мне и раньше казалось, что апостолы дают совет: выбирая знание и путь, поразмысли, а приведут ли тебя избранные путь и знания в рай? Наш земной путь извилист, а знание происходящего... Я вот, грешным делом, подумал... Говорят, что народ не с нами... Может, и так... А Господь-то, он с кем сейчас?.. Кто ныне его чады возлюбленные — мы или они? Мы или они?.. Думаю, так и корю сам себя, ведь эти мысли мои — бред, наваждение, подлинный морок, объяснить который можно только моим болезненным состоянием... Ясно же... Должно быть ясно, в конце концов — для Господа мы все едины: и мы, и они. А ты как думаешь, Адам?

Адам набрал полную грудь воздуха, собираясь ответить, но увидев, что Максим принялся читать молитву, желание высказаться попридержал. И вместо слов у него получился протяжный вздох.

— О, святые апостолы Петр и Павел, не отрекайтесь от нас, грешных рабов Божьих Адама и Максима! Не допустите нашей разлуки с любовью Господа! Станьте крепкими заступниками веры нашей! — Максим трижды перекрестился и, повернувшись к Адаму, сказал: — И не вздыхай так грустно, Адам! Еду с тобой сегодня.

С тем и расстались, уговорившись встретиться в полночь у пристани, чтобы с пологого берега вывести коней на Обской лед и выдвигаться в сторону станции Алтайской.

Распрощавшись с Адамом, Максим долго смотрел ему вослед, прожоя взглядом залатанный адамовский зипун, мелькающий среди прочих шуб, пальто и шинелей, жалея, что так и не решился расспросить его про услышанные краем уха бесчинства, случившиеся после того как они — кадровая рота Третьего Барнаульского Сибирского стрелкового полка — сдали партизанам свой оборонительный рубеж — Богородице-Казанский женский монастырь. Сдали, как по всему выходит, на разор и поругание.

«А-а-ле-на... А-а-ле-на...» — вновь и вновь гулким эхом отзывался недавний шепот-крик в голове Максима, и без того надсадно гудящей, словно большой церковный колокол. И страшные картины рисовало воображение Максима, кровавые и жестокие...

«Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!» — действительно запели колокола на звоннице, своим могуществом отменяя суету и неразбериху на Соборной площади и вместе с тем возвращая Максима в реальность.

«Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!» — звучно пели колокола, словно бросая над площадью единый, понятный для всех клич.

Кто-то замедлил шаг, крестясь на ходу, кто-то совсем остановился и, скинув шапку, крестился с поклоном, были и те, кто смеялся, зубоскалил или грозил храму Петра и Павла кулаком.

«Батюшка звонарем зовет, — Максим вспомнил утренний разговор с отцом Николаем. — Что же, это не так глупо, как кажется... Совсем не глупо! Может, важнее всего сейчас не города оборонять, а веру православную взять под защиту от ее заблудших гонителей. Без нее и им, и нам — погибель. Вот ведь — повинуюсь колокольному звону, почти каждый оборотился, пусть иные с хулой, но всё же...»

Максим, погруженный в мысли, что в полной мере можно было бы счесть и за благостные, медленно шел по Петропавловской линии, когда его обогнали двое восторженных розовощеких гимназистов.

— Идем к столбу, там такое говорят, такое! Эти... ораторы! Всех подряд кроют! Давай же быстрее! — скороговоркой тараторил один из них.

И без того запыхавшиеся, они еще прибавили шагу, видимо спеша на Демидовскую площадь послушать нечто «такое».

Дойдя по пути гимназистов до Демидовской площади, Максим остановился поодаль от «столба» — гранитного обелиска, установленного на площади в честь столетия Алтайских горных заводов, — подле которого стояли сани и «ораторы», меняя друг друга, забирались на облучок и произносили краткие, но энергичные речи. Максим не мог слышать со своего места, о чем «таким» говорили «ораторы», но судя по жестикуляции и плотным клубам пара, выстреливающего из ораторских ртов в морозный воздух, действительно крыли всех подряд.

Очень скоро Максим, чувствуя, что начинает замерзать, решил вернуться домой к отцу Николаю и, уже разворачиваясь, увидел, как на облучок саней карабкается солдатик в очень знакомой шинели, прожженной на спине.

Максим подошел поближе и, услышав картавую речь, убедился, что это именно тот перепуганный стрелок, разглагольствовавший, когда они ночью скрытно уходили из монастыря через восточные ворота.

— Бгаты, бгаты мои, кгасные пагтизаны! — срывающимся голосом кричал картавый. — Товагици! Кто я был вчегя? Гядовой солдат у Колчака, насильно мобилизованный! А сегодня я бгосил в ггязь эти тгеклятые пагоны и пгошу пгинять меня в пагтизаны всего как есть, с тем чтобы защищать от Колчака власть габочих и кгестьян...

Дослушивать до конца речь картавого Максим не стал из брезгливости, да и слабость дала о себе знать.

Пора было возвращаться.

Отец Николай с порога принялся отчитывать Максима.

— Ну что же ты, Максим, как дитя неразумное, право слово. Больной да в эдакий мороз разгуливать по городу вздумал. Тебе бы в постель денька хоть на три, хворь злоторную перележать...

Максим, смущенный такой заботой и чувствующий себя виноватым перед отцом Николаем, дал батюшке выговориться, напоить себя горячим молоком с медом, выпил все предложенные батюшкой лекарственные порошки и только потом признался:

— Я... уезжаю сегодня ночью, буду часть свою догонять... Благословите, батюшка...

Максим сложил руки крестом ладонями вверх и склонил голову.

— Бог благословит, — тихо произнес отец Николай, крестя Максима. — Бог милостив. Раз решил так, значит, по тому и исполняй! Только помни, Максим, будут сомнения в душе — приходи. Если не знаешь, кому верить, — спроси свое сердце, когда в сердце добро — оно не обманет... А теперь — спать. Сон тебе силы придаст.

Максим безропотно отправился на выделенный ему диван в кабинете отца Николая, но заснуть так и не смог. Все вспоминался ему картавый солдатик в прожженной на спине шинели.

«Ловко это он, — мучительно размышлял Максим, укрывшись одеялом с головой, как любил делать в детстве, когда хотел сузить сложный и непонятный ему мир до минимума. — А завтра, если мы верх над красными возьмем, — опять к нам побежит, “бгатцы, бгатцы” станет кричать? И это его прикрыли собой безоружные монахини? И Алена с ними... А я еду... И отец Николай как в меня смотрит: “Будут сомнения в душе — приходи”. Этих сомнений и не счесть, всю душу источили...»

Нет, под такие мысли не шел сон к Максиму, несмотря на пуховую перину, мягкую как облако небесное, что заботливо постелила для дорогого гостя супруга отца Николая матушка Евгения. Несмотря на высоко взбитые ее доброй рукой подушки, несмотря на самое теплое в доме одеяло из верблюжьей шерсти.

Даже когда мысли спутались и утихли, Максим не уснул — он в свете уличного фонаря, пробивавшегося сквозь тюлевые шторы, рассматривал книги, что занимали одну из стен в кабинете отца Николая. Полумрак подбрасывал целые сюжеты для фантазии и воображения Максима. То книги казались ему патронами, набитыми в пулеметную ленту, то кирпичной стеной монастыря, по которой, сдирая кожу с переплетов книжек кирпичей, чиркали пули. А нарядные корешки энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона напомнили ему парадный строй на плацу в Омске, золотые погоны офицеров, строгую фигуру генерала Капшеля, застывшего на коне, словно они с конем единое целое, адмирала Колчака, объезжающего строй...

Нет, не шел сон к Максиму, а скоро и время подоспело отправляться на пристань.

Ночь стояла ясная, морозная. Снег, вымерзший до хруста, отзывался на каждый шаг. Дружно дымили печные трубы. За окнами домов таилось тепло. По шторам плавно двигались тени. Мужские, женские... Казалось, ничего не изменилось в привычном человеческом мире — скоро придет Рождество, а с ним пение в храме, славящее младенца Христа, подарки, катания, мясной аромат кипящих в бульоне пельменей, только-только занесенных в дом с мороза...

Максим, умиротворенный теплым светом окон, шел по Московскому проспекту не таясь, но, увидев высыпавшую со двора одного из домов

группу вооруженных людей, свернул в Мостовой переулочек и дальше к пристани пробирался крадучись, стараясь держаться в темноте подалее от оконного света.

Адам, как-то ухитряясь не скрипеть снегом, вынырнул из темноты.

— Вот и хорошо, Максим Серафимович, — весело зашептал Адам. — Вот и хорошо, ваше благородие... Да что я шептать взялся, нет тут никого, я тут поблизости весь берег обошел. Там, кстати, полынья поодаль — бабы белишко полоскают, хорошо, что я по еще свету заметил. А то бы ухнули в полынью с конями вместе... Бабы-то днем были... А сейчас — никого... Тут не то что говорить — петь можно!

И Адам снова запел песню, что не отпускала его несколько дней.

...Не для меня реки струя
Брега родные омывает,
Плеск кротких волн других смущает;
Она течет — не для меня!..

Напевая, Адам резко нырнул в темноту, песня на время стихла, потом опять послышалась совсем рядом, и Адам появился, ведя в поводу двух коней, накрытых попонами.

— Тут сарай лодочный. И что за добрый человек туда солому уложил? Так, глядишь, и померзли бы кони, и попоны не выручили бы. А вот и винтовочка ваша, Максим Серафимович. — Максиму показалось, что веселье у Адама резко сменилось полным спокойствием, едва ли не апатией. — Ну что, в путь? Как говорится, с Богом!

Осторожно, не торопясь они перебрались на другой берег и там пустили коней галопом. Студеный ветер бил то в грудь, то в спину, а то, по-медвежьи распластавшись, тяжело падал сверху, словно желая сбить с коня, с пути, закружить, заморочить. Через версту-две на дороге начали попадаться переметы. На чистых участках кони шли галопом, а на участках, занесенных снегом, копыта вязли и кони сбивались с шага. Кое-где, под снегом, предательски прятался лед, ноги коней разъезжались, они глубоко проседали, едва не падая на колени, что могло грозить увечьем и коню, и седоку. Вскоре от коней повалил пар, а на гривах зазвенели сосульки.

От студеного, пронизывающего ветра, а более от тяжелой езды Максим снова почувствовал болезненную слабость — руки едва удерживали поводья, а ноги почти не чувствовали стремяна. Его раскачивало в седле и мотало из стороны в сторону. Конь, предоставленный сам себе, перешел на шаг, гулко бухая копытами в рыхлый снег и выдыхая под каждый шаг клубы пара из ноздрей.

— Трррр! — Адам махнул рукой Максиму и остановил коня. — Стойте, ваше благородие, вон стожок, оботрем коней досуха и дальше...

Максим тоже остановил коня и не слез, а скорее сполз с него.

Адам сбегал два раза к стожку и принес два больших пучка соломы, на один усадил Максима, а другой раздергивал и обтирал коней, да так уработался, что в пору было уже и с него самого пот сгонять.

— А солома-то как пахнет! — держа в руках свежий пучок, восхищался Адам. — Мед, да и только! Того и гляди лето померещится, пчелы полетят с цветка на цветок...

— Адам, — прервал Максим блаженные воспоминания о лете, — правда, что партизаны в женском монастыре... Что безобразия были. В городе так говорят.

— Были, ваше благородие. — Адам еще раз вдохнул аромат соломы из пучка, что держал в руке, и подsunул его под морду коню, тот почти так же, как Адам, втянул ноздрями воздух и принялся жевать недавние Адамовы воспоминания о лете. — Были... Доподлинно о том разоре ничего не известно, знаю только, что нескольких молодых послушниц люди добрые приютили на Булыгинской заимке. А что их насильничать хотели, так догадаться о том нетрудно — послушницы прибежали босые да почти нагишом...

Конь дожевал пучок соломы и благодарно ткнулся мокрыми ноздрями Адаму в ладонь.

— Зря я утянул вас с собой, Максим Серафимович, — вздохнул Адам. — Вернуться бы вам, ведь недалеко отъехали. Опять же...

Адам недоговорил, подвесив в воздухе нечто понятное им обоим, но не обязательное к произношению.

— Ты прав, Адам, — почти сразу согласился Максим, словно ждал такого поворота событий, заранее приняв решение, — ты прав. Я возвращаюсь.

— Доберетесь сами, а то, может, провожу вас до Оби?

— Доберусь, Адам. Спасибо тебе за все.

Максим с усилием поднялся с соломы, шагнул к Адаму, и они крепко, по-мужски обнялись. После чего Адам помог Максиму сесть в седло и подал винтовку.

— А как же ты, Адам? — закидывая винтовку на плечо, спросил Максим. — Доберешься?

— А я, ваше бла... то есть Максим Серафимович, пожалуй, тоже к себе в село подамся. Смутили вы меня, ей-богу, смутили... Если что — ищите меня в Калиновке, что на Чумыше в Залесовской волости. Меня там каждая собака знает. Ну, пора, а то коня застудите.

Адам хлопнул коня по крупу, и конь рванулся было с места, но в ту же секунду, словно вспомнив о болезненной слабости седока, быстро перешел на шаг.

— Максим Серафимович, — услышал Максим из темноты, — там польнья, не забудьте объехать! А винтовочку в польнье утопите — она вам больше без надобности!

Максим улыбнулся. На то, чтобы ответить, не осталось сил. Какое-то время ему еще было слышно, как о мерзлую землю стучат копыта и как сквозь стук еле слышно пробивается Адамова песня:

...А для меня кусок свинца,
Он в тело белое вопьется,
И слезы горькие прольются.
Такая жизнь, брат, ждет меня.

Потом стихла и песня.

«Так, не спать, не спать! Не хватало еще замерзнуть, — встряхнулся Максим, чувствуя, как клонится голова к холке коня и слипаются глаза. — Я должен вернуться. Правильно отец Николай говорил про сердце, что оно не обманет. Верить нужно только своему сердцу».

